**Николай ЯДРИНЦЕВ**

**КАЛМЫЧКА**

*Рассказ*

Мои детские воспоминания часто рисуют мне маленького друга, о котором у меня осталось самое нежное и в то же время самое тяжелое воспоминание.

Друг моего детства не походил на других моих сверстников и товарищей. Это было существо совершенно своеобразное и оригинальное, не подходившее к окружавшему его обществу, чуждое ему, существо, к которому никто из окружавших не чувствовал ни расположения, ни симпатии, но этот маленький друг был близок и полезен дли меня.

Я стал помнить себя в барском доме отца с раннего детства – на дворянском положении. Нас окружала домашняя прислуга: дворня, няня, горничные и проч. Мы жили в маленьком пограничном городе Сибири, когда-то бывшей крепости. Но полуразрушенная крепость и заржавленная пушка, в которую мы совали тряпки и камни, уверенные, что сколько не заряжай ее, она не выстрелит, напоминала мне впоследствии крепостцу в «Капитанской дочке» Пушкина. Здесь также было все патриархально, и давно мирная крапива обвила и застлала воинственные бастионы. Трубил здесь старый горнист только «на кашу», и барабан скорее укладывал спать, отбивая свою зарю каждый вечер, чем звал на бой «воина». Самые воины, бродившие здесь, были в выцветших сюртуках нараспашку, без нашивок и погонов, какие-то отставные и заштатные. К городу не подступал неприятель, но его посещали дикие сыны окружавших степей, калмыки и киргизы, пригоняя баранов, приезжая на длинношеих верблюдах за покупками, и привозили разные продукты. От этого город в моих воспоминаниях носит полуазиатский характер.

Вот в этом городе и расположилась наша семья. Отец мой занимал здесь хорошую должность, и дом наш был обставлен всеми удобствами. Папаша чем-то начальствовал, – сужу потому, что к нему по праздникам являлись какие-то жалкенькие, сухие пригнетенные люди и скромно жались к печке, ожидая выхода отца. Они выпивали в большие праздники по рюмке водки, наскоро толкали пирог в рот, и не прожевав куска, исчезали.

Мой кругозор, как и жизнь, вращались преимущественно в детской, где я припоминаю себя сидящим на ковре и держащим в руках сломанного гусара на лошади.

Мне казалось, что я никогда не был меньше, а как сидел на ковре с гусаром, так и родился. В это время, подле старой няни, я увидел маленькое личико, которое не походило на другие, – оно было широко, уродливо сравнительно с нашими липами, на нем были узенькие, как щелки, глазки, в которых светились угольки, волосы ее были черные, жидкие, щетинистые. Ее звали калмычкой, и я ее научился так звать; другого имени и впоследствии я не узнал, хотя она была крещена, несомненно. Это маленькое смешное и уродливое существо было поселено в нашей детской и имело обязанность помогать няньке и быть на посылках у всего дома. Самые черные и низшие услуги поручались калмычке. Чуть работа грязна, неопрятна, везде говорили:

– Э, да приказать это калмычке сделать!

Так на нее смотрели и домашние, и прислуга. В детской няня ей поручала поправлять мою кроватку, убирать моего гусара, если я его оставлял на полу в небрежении и т д. Калмычка была покорна и беспрекословно все исполняла. Впоследствии я понял, что это была маленькая раба. Как она появилась у нас, об этом я узнал немного от няни, –но впоследствии картина дорисовалась.

Около городка, бывшей крепостцы, кочевали калмыки. Когда-то у них был ужасный голод, и люди умирали, целым семьям недоставало пищи и особенно хлеба. В это время бедняки из киргиз и калмыков вывезли своих детей на казачью линию и охотно отдавали, или точнее, продавали их за мешочек муки. В городе я видел впоследствии несколько таких калмычек и калмыков. Один из калмыков обрусел и, выросши, даже расторговался, – ходил он в сюртуке и, помню приходил христосоваться, причем наши не особенно охотно выполняли этот христианский обряд, а отец непременно требовал, чтобы с ним перецеловались все горничные.

Моя калмычка занимала меня более других. Находясь в детской, она разделяла все мои игры, и мы скоро сдружились. Если для всех других она была прислуга, то для меня она была спутником и поверенным всех моих тайн. Ей я вверял свою драгоценность хромого гусара, как уезжал из дому, и коня, которого непременно требовал поставить в стайку, хотя это был самый невзыскательный из всех коней на свете. Я скоро привык к калмычке, ее уродливое лицо не производило на меня никакого впечатления; я его находил, как и все другие лица, обыкновенным, оно было даже приятно иногда, оно смеялось, бывало пасмурно, как и у других; я научился читать в этих глазках ласку. Калмычка разделяла все мои затеи, ибо была, во-первых, такой же ребенок, как и я, во-вторых, она не видала ничего от меня дурного. Когда ее обижали, она приходила, садилась на сундук и пасмурно смотрела; слез я не видел у ней, когда ее даже били, – так привыкла она к обидам. Я делился с калмычкой лакомствами за ее ко мне чувства, конечно, обделяя тем, что привлекало мой аппетит. Раз, рассердившись на какую-то непочтительность ее моему гусару, я схватил калмычку за жесткие волосы. Она вырвалась, отошла и села на сундук, сумрачная и молчаливая. Целый час я не мог ее дозваться играть, и нас примирила только няня, сказав мне: ты, миленький, не обижай калмычку, она сирота, ее и так обижают…

– Сироты, это значит у них нет папы и мамы... да, няня? А где же у ней папа и мама?

– Далеко милый, в степях; может быть, умерли; она нам отдана.

– Зачем отдана, няня?

– А вот мы ее вырастим, замуж отдадим.

– Я не отдам, я не хочу, калмычка моя, – заявлял я, как собственник.

Проходило детство, рос я, росла и калмычка; ее широкое и приземистое тельце становилось полнее, но рост слабо подавался – росли только голова, не терялся и смуглый цвет лица. Меня начинали учить, я возился с азбукой; начав разбирать слова, я не мог не поделиться и с калмычкой, она быстро запоминала буквы. Мне понравился этот товарищ, и я не замечал, как она быстро запоминала и усваивала. Мать, заметя раз, как калмычка возится с моей азбукой, вырвала ее и ударила калмычку.

– Как ты смеешь брать барича книжки?

Калмычка села на сундук, задумалась. Я объяснил матери, что мне веселее учиться с калмычкой, и тогда мать стала снисходительнее, но калмычка не брала моей азбуки никогда в руки.

– Это твое. – говорила она, – я посмотрю издали, я понимаю.

Я начинал читать сказки, и калмычка слушала. После обеда мы уходили с ней играть в сад. Там, в тени, среди чащи, я не знаю – почему, я изображал из себя разбойника, никогда не готовясь к этой профессии.

Калмычка должна была иногда изображать мирного обывателя, к которому разбойник вторгался, также выполнять и роль полиции, ловить меня. Сколько я помню, калмычка была самой снисходительной для меня полицией, ибо находилась в полном моем распоряжении.

Скоро я сделал весьма приятное открытие. Мне объявили, что я поеду с отцом в другой город и буду определен в гимназию, что мне дадут мундир, и я буду приезжать к родителям на лето. Это привело меня в восхищение.

– Калмычка, я поеду учиться в гимназию, мне шьют мундир, у меня будут свинцовые пуговицы... Я после буду, может, гусаром...

Почему-то решил размечтаться я и заглянуть в блестящую перспективу.

Но как я обнаружил такой порыв воображения, к удивленно моему, калмычка взяла меня тихо за руки, посадила в саду под то тенистое дерево, где мы играли, и устремив на меня свои угольки, сказала:

– Нет ты не уедешь, ты не уедешь, я тебя не пущу...

Я помню ее сосредоточенное и решительное лицо. Я тебя не пущу, – повторила она и стиснула мои детские руки.

– Нельзя, калмычка! Ты пойми, что мне шьют мундир, это будет очень хорошо, в гимназии будет весело, там много будет товарищей, мы будем играть в разбойники. Наконец у бабушки, где буду жить, будут вечера, танцы. Нет, калмычка, мне непременно нужно ехать, я хочу, наконец, в гусары, я мальчик.

– И я не останусь без тебя. – сказала так же решительно калмычка.

– Куда же ты? Со мной нельзя.

– Я одна уйду, здесь не буду... – сказала она так же серьезно.

Я не стал расспрашивать калмычку, куда и зачем она уйдет, ибо нас в это время позвали.

Я уехал в гимназию, подарив калмычке старого изломанного гусара, коробку от конфект и несколько этикетов, которые мне были не нужны. К удивлению, она не обратила внимания ни мои подарки, но выказала признательность... Она сидела хмурая и недовольная.

Меня увезли в гимназию. Чрез месяц я узнал от бабушки, что у нас по отьезде было событие. Калмычка пробовала бежать, но ее нашли. После, приехав на вакации, я узнал и подробности, хотя не от калмычки: чрез день после моего отъезда она исчезла, точно провалилась. День ее не искали, но, когда прошли сутки, за ней посланы были розыски. В городе ее не было, но кто-то встретил ее в степи, это передал приехавший знакомый киргиз. Куда шла девочка, он не знал. Калмычку нашли через неделю, она была исхудалая, дикая, чем она питалась – неизвестно. На вопросы она не отвечала, да никто и не интересовался, что побудило ее бежать, ведь она была дикая. Калмычку больно наказали и внушили ей, что она собственность своих хозяев и если еще бежать, то не так с ней поступят, калмычка смирилась. Я застал ее выросшую, но похудевшую, ее так же заставляли выполнять все черные работы, но для праздников сшили ситцевое платье. Калмычка была покорна, но молчалива. Ее звали злющей, хотя она ничем не выражала гнева и только упорно сидела часы, не разговаривая с людьми, которые обижали ее. К этому ребенку-рабу не проявлялось ни у кого нежности, и она сами ни к кому не питала никакого чувства. Она носила все в себе, в себе сосредоточивала. Я после только раздумывал, какое ужасное детство пережила эта детская душа, обреченная на безмолвие и одиночество. Когда я воротился из гимназии, наши прежние отношения уже не восстановились, дружба была навсегда порвана, калмычка даже не отвечала на мои вопросы: зачем она бежала и как скиталась. Она смотрела на меня холодным взглядом, и угольки ее не теплились. Я не мог привлечь ее внимание даже рассказами о гимназии. Правда и то, что моя жизнь, как подросшего мальчика, уже не укладывалась в жизнь детской, она парила теперь над голубятней.

Когда мне было 16 лет, я явился на вакации блестящим юношей, я похорошел, на мне был изящный мундир и даже подаренные бабушкой часы, правда старинные, луковичной формы, но все-таки часы. Я уже танцевал и делал визиты. Калмычка оставалась в черном теле, она слабо росла, только голова увеличивалась и скулы выдвинулись, глава были так же узки. Она теперь постоянно ходила в ситцевом платье и исполнила роль горничной. Вид ее был такой же послушный, на нее не жаловались, но она была также дика и молчалива.

Раз я присутствовал при следующем разговоре отца с матерью и, таким образом, был свидетелем, как решилась весьма важная минута в жизни моей прежней любимицы.

– Иван у нас решительно из рук выбился. – говорил отец о нашем кучере, старике лет 60-ти с лишком, который был верный слугой, хорошим конюхом и у которого был один недостаток: в праздничные дни иногда в самую нужную пору он не мог решительно запрячь лошадь, не то чтобы он не хотел, он ужасно хлопотал, выводил лошадь, тащил сбрую, но лошадь у него не попадала в оглобли, хомут надевался сзади. Словом, все не ладилось, чем больше он усердствовал. В это время он быль красен, пыхтел и был чересчур разговорчив. В то время, когда отец сердился, негодовал, меня забавляло слушать уверения Ивана о том, чтобы господа не беспокоились, что он заложит лошадь лучше, чем когда-либо, и при этом брал ту или другую неподходящую вещь, проводил не туда лошадь и беспрестанно спотыкался на оглобли.

Иван позволял себе в праздничные дни после обедни быть «у праздника». Впоследствии это развилось у него в запой. Отцу не хотелось прогонять Ивана, он был хороший кучер, когда бывал трезвый. Наконец, у отца явился остроумный план.

– Знаешь что, – сказал он моей матери, – я думаю нужно, чтобы Ивана взяла в руки какая-нибудь баба и не давала ему так погуливать. Я придумал его женить.

– На ком? – сказала изумленно мать: – кто пойдет за Ивана?..

Отец загадочно улыбнулся.

– Я думаю, – сказал отец: – женить его на калмычке. Она молодец, с характером, с ним управится. Мы потребуем, чтобы она исправила Ивана. Ведь калмычку все равно никто не возьмет замуж.

– Но ведь он стар, – сказала мать про Ивана.

– Пустяки! – сказал отец: – тут ведь не для детей брак, не по привязанности. Он смирный мужик, но его надо подтянуть!..

Почему отец решил, что женитьба исправит Ивана, я не знаю. Я не мог вмешиваться в этот интимный и щекотливый разговор. Знаю, что по отъезде моем Ивана женили на калмычке, представив ему все выгоды этого брака. Знаю, что Иван был в день брака в новом кафтане, что он был жестоко пьян, быль он пьян и на другой день, и калмычка запрягала за него лошадь. Весь вопрос был у нас в хозяйстве – запрячь лошадь: отец иногда сам правил. Иван, оказалось, не только не исправился, но загулы начали повторяться чаще. В это время он калмычку не звал иначе, как: «черт! дьявол! калмыцкая харя!» и т. п. За все это она должна была выполнять его обязанность.

Наконец, раз решили нарядить калмычку кучером, одели в кафтан, надели шляпу, сначала расхохотались этому маскараду, но посадили на козлы, и ее было трудно отличить от мужчины калмыка, так как последние так же долго были без бороды. Словом, это был калмык парень, какие и у других служили в кучерах. Итак, Иван передал свою профессию жене, а сам только дирижировал и иногда ходил потрепать вопя. Отец пробовал давать нагоняи Ивану, но он опустился совсем; наконец, ему перестали давать жалованье, а только кормили. Изредка рубль давали калмычке.

Прошел год. Я приехал прощаться с домом, с родителями. Я должен был ехать в столицу. Обошел сад, был под той черемухой, где мы в детстве играли с калмычкой. Где же она?

Я вышел из сада и встретил работника.

– А что калмычка, все кучером ездит?

Работник взглянул на меня вопросительно.

– Да вы разве, барин, не знаете?

– Нет, ничего не знаю.

– Ведь она удавилась.

– Как так?

– Очень просто, Иван-то стал было ее поколачивать, известно пьяный человек, вот мы приходим раз в завозню, смотрим – она, горемычная, на вожжах висит, значит, через перекладину-то, где сеновал...

Я перестал слушать и вернулся в сад. А родной сад так же шумел, и все мне веяло в нем детством, свежими цветами, первыми впечатлениями. Тогда предо мной встало опять это маленькое уродливое личико ребенка с маленькими угольками, которые смотрели на меня с мольбою и лаской. Руки ее крепко держали мои детские руки. Теперь только жалость шевельнулась в моем сердце, и я почувствовал как бы упрек за то, что не отплатил ничем бедной калмычке за ее ласку во время моего детства.

Мне хотелось сходить на ее могилу, но что скажут обо мне окружающие, если я пойду ее отыскивать. Я должен бояться показать ей сочувствие даже после смерти.

Я, единственный друг ее, должен был скрыть свое человеческое чувство к ней.

*1897*

**Вопросы и задания**

1. Почему у рассказчика о калмычке осталось самое нежное и в то же время самое тяжелое воспоминание?

2. Почему героиня рассказа оказалась чуждым существом к окружавшему ее обществу?

3. В связи с чем автор упоминает о повести А.С. Пушкина «Капитанская дочка?

4. Почему калмычка занимала внимание рассказчика более других.

5. Почему по отъезде рассказчика калмычка пробовала бежать?

6. Сколько временных пластов можно выделить в сюжете рассказа? Озаглавьте каждый из них, составив план рассказа.

7. Какие чувства испытывал рассказчик к героине своего повествования? Почему рассказчик боялся показать свое сочувствие калмычке даже после ее смерти и должен был скрывать свое человеческое чувство к ней?